

Зимой 1917 года Иван Бунин получил по почте пачку стихов от незнакомого юноши с просьбой об отзыве. Прочитав, ответил открыткой: «Думается, Ваш удел, Ваша истинная поэзия — в прозе...».

Пророчество сбылось. Юношу звали Константином Паустовским.

В эру торжества «искусства для масс» он был одним из немногих, кто заговорил с современниками (и потомками) от первого лица. Прозе откликнулись поодионочке. В заколдованном под «массу» народе билось множество необобщенных человеческих сердец.

А Иван Алексеевич Бунин, обычно ядовитый в оценках, в последние годы жизни читал Паустовского вслух знакомым, восхищаясь и вряд ли вспоминая имя юноши, некогда приславшего ему неопубликованные стихи.

Завидная писательская судьба? А в дневниковых записях с 1914 по 1946 год наиболее часто встречающееся слово: *тоска*. Другое — *скука*.

Дневники Константина Георгиевича второй половины его жизни необъяснимо закрыты в личном архиве по сей день.

«Повесть о жизни» в шести книгах с множеством выдуманных событий и персонажей он будет упрямо называть «автобиографической». Реальность и литература сольются в единое целое, но этого окажется мало.

«Я думаю о фантастической книге — книге о жизни, какой бы она могла быть, если бы я строил ее по своим желаниям...».

Оставшаяся неподписанной, эта книга бесследно исчезнет...

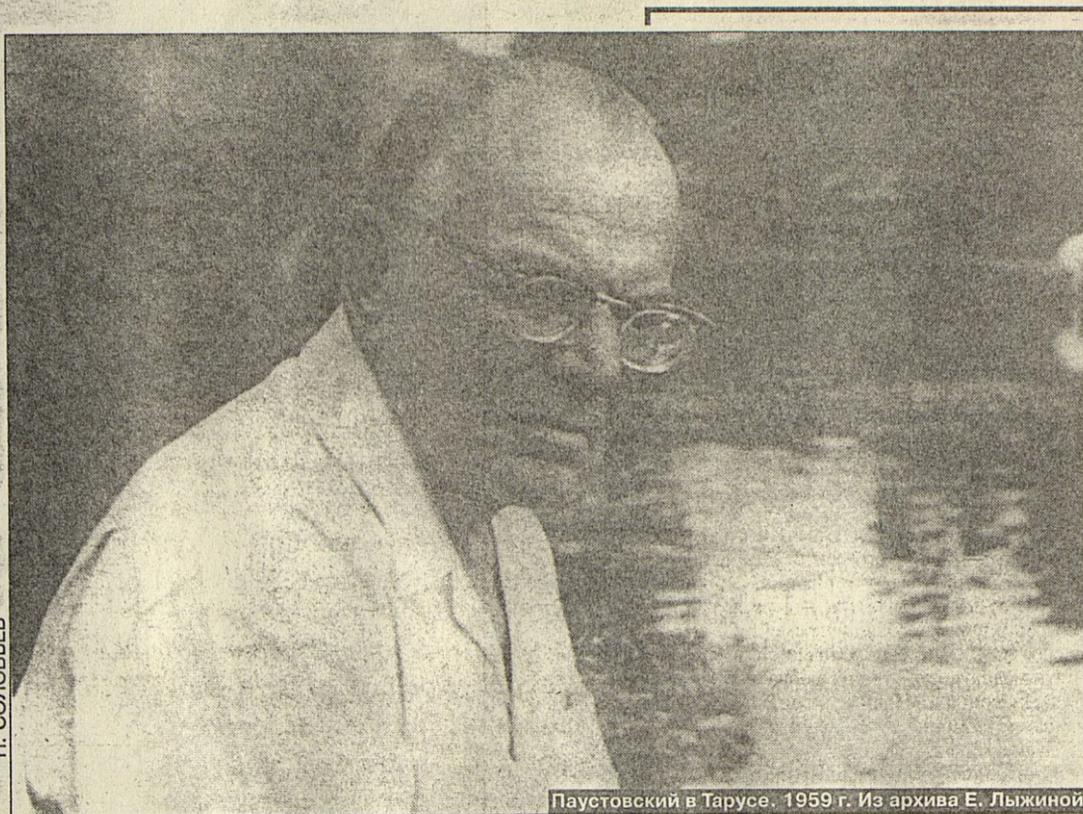
В 1965 году Константин Паустовский был кандидатом на Нобелевскую премию.

«В момент выборов К.Г. был в Риме на конгрессе писателей, — из письма Лидии Делекторской, спутницы жизни Анри Матисса, переведившей Паустовского на французский, автору этих строк — Приехала туда и я... В Риме накануне присуждения Нобелевской премии по литературе ВСЯ пресса и телевидение пригласили интервьюировать Паустовского. <...> Лишь сам он был настроен скептически. С глазу на глаз он сказал мне:

— Поймите, Лидия Николаевна, что «старик», — он имел в виду жюри Нобелевского комитета, — не сможет себе этого позволить. Сохраняя отношения с Союзом, второй раз подряд дать премию советскому писателю — не верно подданному — не посмеют.

Так и случилось. Премию вскоре дали Шолохову за его «творчество в целом».

«Если принимает читатель — значит, принимает народ, и



Паустовский в Тарусе. 1959 г. Из архива Е. Лыжиной

Константин ПАУСТОВСКИЙ:

КАК ПРЕКРАСНО, ЧТО НЕ СТАРЕЕТ СЕРДЦЕ

тогда уже ничего не страшно», — скажет Константин Георгиевич спустя год в документальном фильме, точас же угодившем «на полку».

Похороны этого «созерцателя» и «выдумщика», «лирика» и «романтика» в середине лета 1968 года примут стихийно-народный характер. До него в двадцатом веке так провожали в последний путь Льва Толстого и Маяковского, после — Шукшина, Высоцкого, Сахарова, Окуджаву.

Пережившие этот день вспоминают не только ощущение личного горя, было что-то еще. Общее острое предчувствие какого-то конца. До входа советских танков в Чехословакию оставались считанные дни.

«Не будем говорить о любви, потому что мы до сих пор еще не знаем, что это такое» — так загадочно закан-

чивается одна из самых поэтичных новелл Паустовского «Ручьи, где плещется форель». Почему? Писавший всю жизнь о любви, он объяснит это в письме к Елизавете Аркадьевне Лыжиной. Не стоит искать это имя даже в томе опубликованных писем Паустовского. Это — его «заря вечерняя», его и ее тайна. Прикоснемся к ней лишь в той мере, в какой позволяла это сама Елизавета Аркадьевна. (Ее не стало в январе нынешнего года.)

Читатели писали Паустовскому всегда, он, как мог, отвечал им. Что было в первом письме юной ленинградской женщины, матери маленького сына, остается неизвестным. Спустя полтора года они встретятся. Всего две встречи и множество писем.

● Ирина БУТЫЛЬСКАЯ

можно сидеть просто сутками, слушая шум и песни рыбаков. Сидеть и представлять себе еще не написанные рассказы — неясные и печальные, как стихи Гумилева <...>.

Апрель 1960 г., Ялта.

Я проживу в Ялте до четырнадцатого апреля, потом возвращусь в Москву. В мае, если меня пустят в Россию, я приеду в Ленинград, а оттуда поеду в Выборг. Не помню, писал ли я Вам об этом, но в Выборге в мае будут снимать «Северную повесть». Киношники зовут меня посмотреть и посоветоваться, но меня привлекает не съемка, а то обстоятельство, что для съемки в Выборге придет несколько старинных парусных кораблей из Финляндии, Риги и других мест... Я кончаю пятую автобиографическую повесть. Это 1922 и 1923 годы на Кавказе и в Закавказье. Похоже на «Короли и капуста» О. Генри. Потом буду писать вторую книгу «Золотой розы».

Здесь холодная и серая весна. Вот уже несколько дней на море безумствует шторм, а в воздухе — пыльная буря. Я такой бури, когда солнце весь день не может пробиться

31 мая
исполняется
110 лет со дня
рождения
Константина
Паустовского



Елизавета Лыжина

сквозь толщу тончайшей, как пудры, пыли еще не видел. Нечем дышать. Вся листва посерела и пожухла. Только на горах (на Яйле) у кромки снегов зацвели эдельвейсы.

Май 1960 г., Таруса.

...Астма скрутила меня со страшной силой. Было время (в Ялте во время двухнедельной пыльной бури), когда единственным спасением была полная неподвижность...

Сейчас лучше, — насколько лучше, что я собираюсь в начале июня в Ленинград. Боюсь загадывать, но кажется мне удастся приехать. Хочу увидеть Вас, если это возможно. Очень соскучился по Эрмитажу...

Есть вещи, о которых очень трудно говорить и писать. Они лежат где-то на границе сознания, в той области, где живет поэзия и где рождаются чудеса (хотя в них принято не верить). Одна из этих вещей — чувство родственности у людей, совершенно не знающих друг друга. Я совсем не знаю Вас, но между тем часто испытываю тревогу за Вас и ловлю себя на том, что Ваша жизнь непонятным образом связалась с тем, что я пишу. Когда я работаю, я всегда думаю о

людях, ради которых пишу. И теперь среди этих людей — Вы... До сих пор я еще не написал ни одной своей книги в полную силу. Мне кажется, что я смогу написать еще несколько хороших книг. И сознание даже отдаленного Вашего присутствия в этой жизни мне очень поможет.

Так я чувствую — это не пустые слова.

Октябрь 1960 г., Таруса.

...Как жаль, что Вы не были в моей деревенской избе. У меня над столом висит предсмертный портрет Блока, — трагический и прекрасный. Я бы его Вам подарил на память о Тарусе... Я остался в Тарусе совершенно один и буду жить в этом одиночестве, вероятно, до Нового года.

Сейчас стоит туманная, рыжая осень. В лесах горечь и тишина. Я много брожу по реке и лесам, думаю о всяческих событиях... На днях выходит (в десятом номере «Октябрь») пятая автобиографическая повесть «Бросок на юг». Прочтите, пока критики не растерзали меня на части за эту книгу.

...Я уверен, что мы увидимся и тогда я расскажу Вам кое-что в свое оправдание... Моя жизнь совсем не такая, как обычно ее представляют. Мне часто бывает очень трудно, почти невозможно трудно...

В ноябре я, должно быть, приеду в Ленинград на «Блоковские дни».

Декабрь 1960 г., Ленинград.

Когда я писал «Ручьи, где плещется форель», я никого в то время не любил. Было глухое время в моей жизни. Тогда я написал, что никто не знает, что такое любовь. Может быть это плеск форели в реке, низкие звезды за окнами, печальный голос женщины. И вот, сейчас мне дорого все, что связано с Вами, даже каждый пустяк. Все — и сырой туманный воздух, налетающий с Финского залива, Пергамский зал Эрмитажа, Куинджи в Русском музее, тот вечер, когда падал медленный снег, и я пришел к Вам на 7-й этаж и впервые ощутил страшную тревогу перед будущим и какую-то глубокую сияющую прелесть Вашего существа. Это был рок, судьба, от нее не уйти. Очевидно, недаром Вы нашли меня в Москве и недаром я, не видя Вас, все время думал о Вас, где бы не был. Может быть, это — награда за всю мою достаточно трудную, но все же хорошую жизнь. Как все-таки прекрасно, что не стареет сердце.

Почему-то после вчерашнего вечера я все думаю о том, как мы ехали в черной и тихой машине вдоль набережной Невы и как уходили вдаль речные ленинградские фонари. Я все люблю, — каждый речной фонарь вблизи и вдали, каждый дом, каждое дерево, каждую вещь — все, на чем хотя бы на мгновение останавливался Ваш взгляд. Я ничего не знаю, кроме того, что сердце разрывается от нежности к Вам и от горечи неизбежной разлуки. Я продал бы за бесценок свою душу черту, лишь бы вернуть свою жизнь хотя бы на 30 лет назад, — и для Вас и для своей работы, — сколько бы я тогда смог написать. Если меня не будет, то я бы хотел одного, — чтобы Вы хранили память обо мне не только как о писателе, а как о совершенно своем, близком и преданном Вам человеке. Берегите себя очень и очень. Вы должны жить ясно, хорошо, спокойно. У вас есть мальчик, — научите его любить поэзию жизни и хорошие книги (в том числе и мои), научите его быть человеком мира, добра и благородства.

Из Тарусы я Вам напишу все, что не успел сказать сейчас. Не сердитесь на меня и никогда, ни при каких обстоятельствах не думайте обо мне плохо. Потому что я полон нежности к Вам, моя взволнованная милая девочка.

Это письмо — вместо прощальных слов в Ленинграде.

Ваш К. Паустовский. 4 декабря 1960 г.

Январь 1961 г., Таруса.

...Я иногда гашу лампу и смотрю в окно, — в ночь, на северо-запад, туда, где Ленинград. Смотрю и вижу глухую тяжелую мглу по горизонту, снега, освещенные непонятно откуда тусклым розовым светом. И мне хочется одеться, выйти на шоссе, поймать какую-нибудь машину, проехать на ней до вокзала в Москве, сесть на первый же поезд в Ленинград...

Бог мой, как можно сейчас написать о Ленинграде, об этом блистательном, томительном, полупризрачном городе, о легком снеге, когда он падал во дворе Вашего дома, и от этого снега нахло зернистым льдом, морем, замерзшими цветами!

Январь 1961 г., Москва.

...Я никогда не забуду тот вечер в Пушкинском Доме, и роль, за которую Вы стояли... В тот вечер, несмотря на мелкие тяжести, моя жизнь подошла к небывалому, почти невозможному счастью, к чуду.